

Алексей Манаев

МОЛИТВА

Рассказ



Алексей Васильевич Манаев родился в 1949 году в Уколовском районе Воронежской области (ныне Красненский район Белгородской области). Окончил отделение журналистики Казанского государственного университета и Академию общественных наук при ЦК КПСС. Кандидат исторических наук. Работал в СМИ и на различных ответственных должностях в федеральных государственных органах. Государственный советник Российской Федерации I класса. Автор и составитель нескольких книг. Удостоен высоких государственных и общественных наград. Живет в Москве.

Он лежал на диване, будто срезанный метким выстрелом в полете: навзничь, голова за подушкой, руки-ноги вразброс. Из бутылки, нахально выглядывавшей из кармана брюк, в алую лужицу на полу капало густое, вязкое вино, напоминавшее кровь, и в горнице висел порочный запах спиртного. Рядом, на стуле, поставив ноги в белых шерстяных носках на маленькую скамеечку, сидела тетя Вера. В руках — пожелтевший тетрадный листок в клеточку. Она что-то разбирала, медленно шевеля губами и то и дело всхлипывая. Напротив, на стене, в красивой деревянной раме — ее фотопортрет в паспорту. Ни гладкая прическа с пробором, ни большие цыганские серьги полумесяцем, ни зазорный носик, ни добрый доверчивый взгляд — ничто не напоминало в молодой душечке нынешнюю тетю Веру. Ничего не осталось от пухлых губ и щек — они ввалились внутрь рта, обнаружив крупные скулы. Носик присел, сплюснулся, почему-то покраснев на кончике, и теперь походил на пипетку. Ясные глаза стали белесыми, подернутыми дымкой. Время демонстрировало царственно безграничную власть над человеком, способную превратить красотку в пушкинскую старуху, сидящую у разбитого корыта.

А на диване во всей красе возлежал ее суженый.

— Уже? — спросил Катунин, недоумевая и отгоняя раскормленную муху, барражировавшую над высоким дядиным лбом с челкой школьника.

Тетя Вера от неожиданности вздрогнула, засмутившись, начала торопливо скатывать письмо в трубочку и запричитала:

— Уже... Люди утру радуются, а я слезами умываюсь.

— Где?

— А кто ж его знает... Рази свинья грязи не найдет? — обреченно почти прошептала тетя и, поднимаясь, перекрестилась.

— Господи, прости меня, господи, великую грешницу, — несколько раз повторила она, выходя из горницы старческой шаркающей походкой. Ей досаждал сколиоз, пригнув к земле так, будто тете Вере ввиду особой греховности запрещалось смотреть на синее небо, на легкие облака, на радугу — на все, что одухотворяло душу. Дядя выточил ей трость с фигурной наборной ручкой из плексигласа. Но она сиротливо стояла в углу. По дому тетя передвигалась на полусогнутых, растопырив руки за спиной. Со стороны казалось, что примерялась взлететь, да все никак не решалась. Собираясь к соседям, непременно искала «кавалера» — сухую суковатую палку. Палка явно уступала трости по всем эстетическим параметрам, но тете была почему-то любя.

Катунин и тетя Вера понимали друга друга с полуслова. Говорили об одном и том же — о ее муже и его дяде Золотом, три дня назад оказавшемся в сетях хитроватого Бахуса.

Катунин был не в духе. Он только что возвратился с деревенского пруда. Поход был неудачным. Рыба, будто объевшись загадочного деликатеса, нежилась где-то на глубине, брезгливо игнорируя приготовленные ей пареный горох, личинки хруща, добытые в перегнившем навозе, свежую пахнущую жареными семечками и подсолнечным маслом макуху, за которой пришлось трястись на рынок в райцентр, и величиной с девичий мизинец дождевых червей. За утро — ни одной поклевки, ни одного задорного, хлесткого удара хвостом о воду.

Вопреки прогнозам спустился холодный для середины лета дождь, наказывавший за то, что не захватил ни зонтика, ни плаща. Мокрый, продрогший, уязвленный неудачей, Катунин мечтал принять душ, завернуться в свежие пахнущие чабрецом простыни и унять раздражение комфортом и покоем. Не получилось. Вода из самодельного душа, найдя щель в уплотнителе, сбежала, а на свежих простынях бесстыдно валялось пьяное существо, именуемое дядей. Пришлось довольствоваться рукомойником, сухим бельем и синим махровым халатом.

Опираясь спиной о стену горницы, Катунин сполз на пол и, обхватив колени руками, с нарастающим отвращением всматривался в беспечного родича. Понятно, когда капризничает ребенок. Что с него возьмешь: дитя. Но как понять разменявшего восьмой десяток мужика, который капризничает похлеще любого ребенка? Дядьку причисляли в селе к Ванькам-встанькам, то есть к хроническим алкоголикам, к больным людям. Своеобразная кастовость авторитета Золотому, естественно, не добавляла, хотя и вызывала сочувствие у многочисленного женского сельского племени. В селе редко кто из мужиков доживал до столь почтенного возраста, племя почти сплошь состояло из моложавых вдовушек, которые из-за отсутствия своих мужей снисходительно относились к проделкам чужих, считая их неизбежным следствием трудного женского счастья.

Катунин знал, конечно, вердикты медиков по этому поводу: хворь, хроническая болезнь. Но он лично считал, что дружба с Бахусом — вовсе не болезнь брэнного тела, а выверты души. Достаточно двух стаканов сивухи под названием «Три буряка», изготовленной местными алхимиками из сахарной свеклы (из сахара сивуху именовали иначе, любовно-элегически — «Ночь нежна»), и ты в ином мире, где не надо косить сено, заготовливать дрова, гоняться с солдатским ремнем за склонными к проделкам детьми и вытирать сопли внукам, тянуть ляжку от зарплаты до зарплаты, а в конце концов — просто добывать хлеб насущный.

По Катунину, человек всегда в пути, даже если никуда не спешит. Но если он ведет автомобиль и забывает о тормозах, то рано или поздно отправится на пикник на местное кладбище. Почему-то в обыденной жизни, в быту о тормозах многие не думают. Не самоограничение, а самоутверждение с помощью беспутства — вот, по мнению Катунина, линия поведения алкашей.

Эту формулу он вывел из личного опыта. Родился в селе, с продукцией местного алкогольного бомонда знаком с пеленок, деньги водились всегда, даже в университете. У родителей не клячил. Сам зарабатывал, разгружая по выходным срочные грузы на железнодорожной станции. После учебы карман никогда не был сверхтуго набит кредитками, но также никогда и не походил на суму калики перехожего. И в компаниях гулял, и праздники справлял, и с коллегами, бывало, оттягивался. Дорогие ресторанные посиделки и томления в варьете тоже стороной не обошли. Но в меру, в меру!

Лишь однажды случился облом. По окончании очередного субботника, как водится, мужская братия послала гонца в магазин. Ошибку сделали стратегическую. Направили бы гонца женского полу — вернулся бы и с водочкой, и с закуской. А мужик есть мужик. У него всегда на закуску не хватает. Гонец прискакал быстро, довольный приобретением. Оказался коллега, видимо, из тех соколов, кто не закусывает, а запивает. На каждого пришелся граненый стакан водки да граненый стакан нарзана. Все!

Делать нечего. Чокнулись, начали обмывать достойно завершавшуюся вылазку на природу — в парк, где убирали дождавшуюся субботника прошлогоднюю гнилую листву. И чем решительнее и быстрее Катунин глотал теплую жидкость, тем хуже становилось. Он схватил другой стакан — с водой, чтобы разбавить продавленный в нутро спирт, тоже пил большими глотками, но чувствовал себя так, будто глотал огонь. И только когда стакан опустел, по поведению окружающих и по собственному взбунтовавшемуся нутру понял, что закусил еще одним стаканом водки. Да не просто стаканом — а граненым, с юбочкой. Получилось, что без крохи хлеба увеличил объем желудка сразу на целую бутылку сивухи, чего никогда не делал. Сослуживцы еще долго вспоминали его решительный, как они считали, рывок в преисподнюю и благополучное возвращение в рай земной.

А тогда все напасти, будто почуяв добычу, свалились сразу. Еле добрался до дома. В отсутствие жены, отбывшей в командировку на Волгу, пришлось плестись в детский садик за дочкой и по просьбе воспитательницы с помощью ведра увеличивать высоту песочницы до Монблана. Казалось ему, что под ногами — палуба корабля, на которую вот-вот обру-

пшится девятый вал. Выдержал. Дома надо было накормить и уложить спать дочку. А дочка сначала не хотела есть кисель с непроваренными комками исходного материала, потом не хотела ложиться спать в столь ранний час и просила поиграть в скороговорки.

— Скороговорун скороговорил скоровыговаривал, что всех скороговорок не перескороговоришь, не перескоровыговариваешь, но, заскороговорившись, выскороговорил, что все скороговорки перескороговоришь, перескоровыговариваешь. Прыгали скороговорки, как караси на сковородке.

Катунин старался что есть мочи, спотыкаясь на каждой букве и по долгу буксуя на каждом слоге. Дочка хохотала, аплодируя розовыми ладошками и спрашивая:

— Папуль, а папуль, ты что, сегодня ежа проглотил?

«Проглотил, проглотил, еще какого ежа», — думал Катунин, пытаешься осилить скороговорку. Осилить не удалось.

Наутро проспали. Воспитательница в детском садике, похожая на оладью, игриво погрозила пухлым пальчиком с наманикюренным длинным, как таракан, ногтем:

— Ох, Иван Алексеевич, Иван Алексеевич, я думала, вы джентльмен, а вы всего-навсего парень с нашей улицы.

— Не браните, исправлюсь, — буркнул Катунин.

— Смотрите, смотрите. А то донесу жене, что изменили ей, сразу узнаете, как чувствуют себя люди в колонии.

— Когда это я жене изменил? — удивился молодой отец.

— Вчера. У меня на глазах с ведром обнимались.

Раньше, в других обстоятельствах, он ответил бы, что не прочь пообниматься и с собеседницей, но сейчас соскочил на нейтральный тон:

— Ах да, я и забыл. С нелюбимой обниматься — что крокодила целовать: и страшно, и противно.

На работе сантименты не разводили, влепив первый за десятилетие неустанных производственных бдений выговор.

С тех пор — где бы ни был, какие бы должности ни занимал, с кем бы ни отмечал юбилеи, повышения по службе и иные торжества, которыми неизменно правит вечно молодой и всегда сексапильный Бахус, — взял за правило: максимум три рюмки. Больше — бессмысленно. Тогда уже все равно, что пьешь — водку ли, вискарь, хваленый элитный французский коньяк или розовый кубинский ром, текилу из кактусов — все отдает сивухой, все норовит клюнуть в темечко. Шампанское и вино — любое — не знал и знать не хотел. Вот попеть, потанцевать, подурочиться, если ранжир компании позволяет, — сколько угодно. Спиртное — не приведи господь! Даже пиву предпочитал компот из сушеного шиповника с медом. Цвет такой же, но пахнет нектаром, а не амбре с ясными нотками мочи.

А тут... Он вглядывался в лежащего на накрахмаленных простынях Икара-Золотого в черных протертых носках, в которые были заправлены странные для летней поры кальсоны, и почти физически чувствовал, как обида из маленького червячка постепенно превращается в злость, злость — в злобу, пульсирующую в висках.

Золотой — из тех, у кого не телосложение, а теловычитание. Голова маленькая, уши торчком, шея длинная, дряблая, как у только что оципанного цыпленка. Плечи вдавило в тщедушную грудь, которая была создана явно не для того, чтобы закрывать амбразуру. В этой хилой груденке

хрипела и мучилась, ища пристанища, болезненная душа. Только глаза были у Золотого чистые, ясные, хотя и всегда настороженные, всегда ожидающие каверзы. Но и они, наверное, стыдясь хозяина, спрятались за припухшими веками.

Катунин уже давно жил в стольном граде и служил в министерстве, с утра до вечера обитая в большом, с комнатой отдыха, кабинете, где в углу филином находились молчаливые высокие часы, стоящие на полу, и куда время от времени ловкая, статная секретарша, распахивая двери, как врата рая, вводила прихожан — в основном, мужчин с файлами, папками, фирменными блокнотами. Катунин общения не затягивал, с ходу улавливая суть вопросов и уровень их проработки. На этот счет у него было две заготовленные фразы. В одном случае, положительном, — «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью». В другом, отрицательном — «Полуфабрикатных детей не бывает, бывают недоделанные».

Однако к вечеру от череды совещаний, непрерывных звонков, прихожан, как он называл подчиненных, уставал. За год усталость накапливалась, сигнализируя об отдыхе. Доходы позволяли отдыхать где угодно с шиком. Но забугорные моря и санатории, равно, как и отечественные, вызывали у него душевную аллергию.

В том ли смысл отдыха, чтобы вставать и ложиться по расписанию, целыми днями бегать по этажам, пытаясь осчастливить брненное тело лечебными процедурами, которые часто прописывали не потому, что нужны, обязательны, целебны, а потому, чтобы загрузить санаторную службу? Как-то по наивности он поинтересовался, сколько нужно баловать себя этими процедурами, чтобы быть здоровым, ему, шутя, ответили: первые три года каждый год, а потом — ежегодно.

В том ли смысл отдыха, чтобы ходить послушным стадом за гидом, не наслаждаясь красотами пейзажей, архитектурными артефактами, живописью мастеров прошлого и подмастерьев настоящего, а как бы принимая их в нагрузку? Не успеешь взглянуть, а тебя уже влекут дальше, будто приехал за тем, чтобы в какой-то неведомой, непонятной ведомости отметить: и я тут был, и будто от этой ведомости зависит, в рай ты попадешь или в преисподнюю. Считал, что санатории и турпоездки с круизами — что искусственное дыхание: даже кашлянуть не дозволяется.

Поэтому Катунин предпочитал, как он говорил, беспривязное содержание — отдых в родном селе. Лафа! Все свежайшее — в стольном городе ни за какие деньги не купишь. Вода из городского крана и даже бутилированная под названием «Святой источник» — это жидкость. Вода из деревенского колодца с дубовым срубом и дубовой бадьей — это живая вода. Молоко в пакетах, не прокисающее по полгода, — это консервы; деревенское парное молочко — это эликсир молодости. И так во всем — в овощах, фруктах, в местных колбасных деликатесах с чесночком и перчиком, в подсолнечном масле холодного отжима с запахом юности, в початках кукурузы молочной спелости, близкой к пчелиному молочку, в озонном воздухе — во всем!

Встаешь и ложишься спать, купаешься в речке, загораешь, рыбачишь, принимаешь воздушные ванны, собираешь грибы, фундук и степную землянику не тогда, когда прикажут или обяжут расписанием, а когда захочется и заможется. Если же потребуется прибегнуть к омовению культурой — пожалуйста. Рядом — подземные монастыри в меловых

горах, старинные церкви, музеи, где Крамской соседствует с Репиным, а Куинджи — с Шишкиным и Айвазовским.

Была в деревенском отдыхе еще одна прелесть — воздержание, самоочищение. В кабинетной жизни всякое случается: нет-нет да и притронешься к женским прелестьям молодых козочек-секретарш, нет-нет да и окажешь им знаки внимания. Деревенская жизнь флирт исключает. Тут все на виду. Народ понятливый и сметливый. Только задумаешь согрешить, а все уже знают, когда и с кем.

Поэтому, когда жива была матушка, Катунин всем санаториям предпочитал один оздоровительный комплекс — деревню. Сложнее оказалось выбирать, когда незабвенной матушки не стало. Дядя, матушкин брат, тоже привечал. Но, остановившись у него раз-другой, Катунин занервничал. О том, что Золотой пил, он, конечно, знал. Но одно дело знать, совсем другое — видеть воочию. Запой могли длиться днями. Полноценный отдых становился невозможным в принципе. Тут никакой эликсир молодости, никакая живая вода не помогут.

И все-таки останавливался на деревне. Дядя, с которым вырос бок о бок, был бездетным, и казалось важным скрасить одиночество стариков своим хотя бы минимальным вниманием. Надеялся и на то, что уж на этот раз пронесет. Да и жалко было. Судьба у родственничка — не приведи господь.

Золотой — не имя и не фамилия: кличка. Так прозвали его отца, вернувшегося с Первой мировой войны в расписанном золотом мундире да еще и с Георгиями на груди. Кличку в наследство оставил сыну. Больше — ничего.

Хмельной Золотой любил вспоминать, как в село заехал шумный табар цыган. Женщины, звеня монистами и полыхая красными длинными юбками, разбежались по дворам. Одна, бойкая, глаза с головку репчатого лука, оказалась в доме Золотого. Увидев на столе красивую брошь, вызвалась рассказать о судьбе хозяина — что было, есть и что будет. Уговорила. Вытащила откуда-то из многослойных юбочных тайников зеркальце, несколько раз провела по нему пальцами, что-то загадочно шепча. Зеркальце тут же будто вскипело, покрывшись мелкими капельками воды.

— Ну вот, дорогой, ну вот, золотой, — тараторила цыганка, — несчастный ты мужик, ох, несчастный. Плакал, плачешь, и будешь плакать. Без отца вырос, немцы чуть не расстреляли, в казенный дом угодил. Дальше говорить не буду, чтобы не расстраивать, и брошь за гадание не возьму — жалко тебя.

Воспоминания у Золотого непременно вызывали слезы. Утверждал: прошлое чавела угадала, а вот насчет будущего промахнулась. Живет он сейчас как у Христа за пазухой. Частые запои к благу не относил, но не относил и к несчастью, руководствуясь формулой: пьяный проспится, дурак — никогда.

Цыганка, похоже, действительно умела узнавать прошлое. Лет в семь остался дядя без отца при живом бате. Поглянулась тому разбитная молодка. Первое время не мог спокойно пройти мимо их двора. Всегда пробегал. Стыдился. Будто не его отец бросил, а он бату. Пытался даже из остатков косы нож смастерить, чтобы лишить жизни разлучницу, полоснув острием по самому горлу. Уж и ручку фигурную янтарного цвета сделал. Проговорился матушке, Катуниной бабушке. Та прижала к себе и сказала:

— Не вздумай. Не позорь нас. Не поможет. Косой отцов не возвращают. У Бога всего много. Хватит и на нашу долю счастья.

Видно, ошиблась — не хватило. Сначала навалилась коллективизация, потом начали усиленно искать врагов народа. Только-только прошли это минное поле, грянула война. Немцы оккупировали хутор летом, в начале июля. Подкатили на танках и мотоциклах к колодцу, который был рядом с домом. Увидев Золотого, заставили попить воды из немецкой алюминиевой кружки. Убедились: не отравлена. Напились сами, хохоча, облили его с головы до ног и отпустили, называя Ванкой-Манкой, то есть Ванькой-Манькой.

Золотому не понравилась ни картавая речь, ни мышиноного цвета форма, а больше всего — бесцеремонность, с которой вели себя незваные гости.

— Скоты! — шептал он, видя, как солдаты с обнаженными торсами, попив водицы и облив себя водой, тут же, у колодца, принялись мочиться. — Хуже скотов.

Хлеба были еще не сжаты, и новые хозяева немедля заставили взрослых односельчан — женщин да стариков — убирать поля днем и ночью. Золотой с приятелем решили показать, кто в доме хозяин. Они достали припрятанные автоматы, найденные в лесополосе, и открыли по односельчанам огонь. Стреляли поверх голов. Стращали честной народ.

Сосед, почтенных лет почти слепой старик, у которого двое сыновей были на фронте и который симпатизировал новым хозяевам, вычислил ребят и посадил под замок, чтобы предъявить оккупантам. Но односельчане не дали. Старикан, видимо, одумался: выдрал народных мстителей шестнадцать лет от роду мокрыми вожжами и отпустил. Пронесло, хотя попереживать пришлось. С тех пор приятелей величали партизанами. Кто с теплотой, а кто и в насмешку.

На второй год войны, в январе 1943-го, сразу после освобождения села, семнадцатилетний Золотой ушел добровольцем на фронт. Боялся, что война обойдется без него. Магушка Катунина пошла было провожать братца, но он отправил ее домой, сославшись на то, что нечего нюни разводить. Скоро вернется с победой. Вернулся действительно быстро. Без победы. Часть из местных хлопцев собирали спешно. Обучать и основательно вооружать их было, видимо, некогда. Под сельцом с причудливым названием Стригуны они приняли бой и рассыпались карточным домиком. Новобранцы разбрелись по всей округе, не зная, что делать. Какой-то седой генерал, проезжавший на трофейном «виллисе» и увидевший растерянных ребят, сказал: «Сынки, идите по домам. Без вас разберемся».

Пошел домой и дядя Катунина. Но где-то на полпути его встретили два пожилых вооруженных мужика в полушубках.

— Ага, с фронта драпаешь, да еще в новых сапогах. Некогда с тобой ласы точить. Разувайся! — потребовали.

— Не драпаю. Нас отпустили.

— С фронта отпускают только на тот свет. Скидывай сапоги! Не то... — Один из незнакомцев передернул затвор винтовки.

С сапогами пришлось расстаться. Километров сто шел по мартовскому подтаявшему снегу в перевязанных бечевой портянках. Дома заболел. Болел долго, трудно, впадая в забытие. Еле выкарабкался, но всю жизнь тяжело, надрывно кашлял. С тех пор и начал таять на глазах. Остались от

него кожа да кости. На фронт больше не направляли. Призвали восстанавливать Сталинград. Снова провожала его матушка Катунина. Теперь просил побыть с ним подольше. В Сталинграде столярничал, плотничал, крыл крыши. Повезло? Да как сказать: с одной стороны, неизлечимая болезнь до конца дней, с другой — не попал на передовую. Окажись в окопах — выжил бы?

Вернулся дядя домой только в 1946 году. Но дома не задержался. Летом 1947-го, в жатву, обоз с зерном нового урожая отправили на хлебоприемный пункт. Старшим назначили Золотого. Было голодно. Решили прихватить хлебца. Брали мешки за углы, высыпали зерно в бурт, а что оставалось в углах — было уловом. На выезде из приемного пункта тару взвесили. Она оказалась подозрительно тяжелой. Из мешков высыпали улов. Набралось семь килограммов пшеницы. Вот и справил Золотой новоселье в негаданном месте — в казенном доме на Крайнем Севере. За семь килограммов зерна — семь лет на нарах.

Крайний Север и так не подарок. А тюрьма в краю непуганых медведей — тем более. Приходилось всей семьей вязать шерстяные носки, выращивать на огороде табак и оправлять все это посылками в зону. Доставалось в первую очередь Катужиной матушке — посылку надо было отнести в город, и только потом она могла следовать к адресату. До города более пятидесяти верст. Хорошо, если подвезут. А если нет — только на свои ноги надежда. Когда Золотого сразу после смерти Сталина освободили, а затем и реабилитировали, то как бы освободили и реабилитировали всю семью. Катунин хорошо помнил день, когда Золотой возвратился домой. Мальцу было четыре года. Тогда он не понимал, где и почему был дядя, почему бабушка опустилась перед пришельцем на колени и сказала, не сдерживая рыдания:

— Сынок, ты святой. Только святые выходят из этого ада.

Позже Катунин понял ее правоту. Выдержать Крайний Север с изрепеченными болезнью легкими мог, наверное, человек, действительно приближенный к небесной канцелярии. И потом бабушка всю жизнь огораживала сына от трудностей, будто лично была виновата в том, что Золотого определили на нары, отправив, как отпетого уголовника, в суровые края.

О лагерной жизни он почти ничего не рассказывал. Будто и не было долгих лет испытаний. О Сталине говорил не иначе как о вожде, который рождается раз в столетие.

— Он же тебя погнал на каторгу. За семь кило зерна семь лет, — недоумевал Катунин.

— Погнал не Сталин, мил друг, а окружение. Мало ли вокруг него дураков волос? Если нас в ежовых рукавицах не держать — всю страну по карманам растащим. Он ее, страну, собрал, отстоял от немца. Посмотри на карту — вон какая завидная, мама не горюй... Это тебе не тщедушная какая-нибудь Лилипутия. Что за страна с лапоть величиной? В лагерях не мед. Но зато теперь любого мужика за пояс заткну.

Он имел в виду, конечно, не физическую силу. Благодаря лагерям Золотой, по его признанию, увидел в себе человека. Катунин не мог объяснить эту метаморфозу. ГУЛАГи отнимали у заключенных здоровье, ка-

лещили души. Дядя же лагеря не обобрали, а напротив, как бы ограничили, слегка обтесали. Пришел без единой татуировки. Не пил. По возвращении домой бросил курить и был самым востребованным специалистом в округе.

Первое время, соскучившись по жизни на воле, Золотой брался за все. Но постепенно энтузиазм иссяк. Нимб человека, ни за что сурово наказанного, проступал все ярче, был все объемнее. Считал, что после северных лагерей имеет право пожить для себя. Даже кузнечное дело, которыми занимался на первых порах, его начало тяготить. Готовился к тому, чтобы зарабатывать трудодни дома. Построил небольшую мастерскую. Ее можно было принять за выставку столярных инструментов: на стенах висели мудреных названий рубанки метровой величины и крохотные, долота, стамески, деревянные лучковые пилы и еще великое множество приспособлений для обработки дерева. Все сделал сам — щепетильно подбирая материал и с усердием подгоняя каждую деталь.

Когда появилось электричество, по собственному разумению сладил универсальный столярный станок. Настенная коллекция инструментов оказалась ненужной. Знаюки ее сватали. Были гонцы даже из столицы. Предлагали большие деньги. Дядя, в деньги влюбчивый, в этом случае становился резким и непреклонным. Говорил обозленно:

— Это моя душа. А она не продается ни ангелу, ни черту, ни дьяволу. Ступай отсюда, мил человек, подобру-поздорову, не доводи до греха, а то обматерю.

Дядя, отъявленный матерщинник, посылая друзей и врагов по различным эротическим маршрутам, почему-то не избегал при этом ласково-умилительных обращений: «мил человек», «душа моя», «сударь». Блатняк в его словаре почти отсутствовал. Говаривал:

— Я не фокусник, но сделаю все, что душе угодно.

Мог он сделать действительно почти все, без чего сельскому жителю было тогда не обойтись. Не касался только машин.

— Это не по моей части, — вроде как оправдывался. — Бензин и солярку каждый день нюхать здоровье не позволяет. Столярка — мое. Захочу, ковер-самолет слажу. Деревянный!

Дядя любил прихвастнуть. Особенно в компаниях, на которые у него был нюх, как у пчелы на нектар. Только-только соберется кучка народу, а он уже там. Смело вступает в спор, доказывает, опровергает, ну и, разумеется, хвастается своим умением. Ковры-самолеты из его мастерской, конечно, ни разу не вылетали. А вот окна, двери, столы, стулья, табуретки, шкафы и еще великое множество столярного товара шло нескончаемым потоком. И не только столярного. Свалить и подшить валенки, стачать сапоги, тапочки — пожалуйста! Сложить печь, покрыть крышу соломой ли, шифером или железом, срубить дом — запросто! Подковать лошадь, изладить хомут, сбрую, сани — да ради бога! Делал все с душой. Тот же хомут, украшенный медными рельефными пластиночками, выглядел нарядно, празднично, и казалось, что он приободрял самую захудалую колхозную лошадаенку. Как и янтарного цвета дуга, украшенная растительным орнаментом, под которой звонко и бодро в любую погоду пел колокольчик.

— Что такое дуга, скажи-ка, мил-друг? — спрашивал он Катюнина. — Упряжь, которая не позволяет хомуту набивать коню грудь? Э-э-э, мил человек, мелко плаваешь. Представь: у невесты вместо фаты

лапоть на голове. И как тебе такая невеста? А лошадь — она покруче невесты будет, если за ней ухаживать. А если не ухаживать — лучше не заводить. Понял, что такое дуга, друг ситцевый? Фата, корона царская!

Когда люди, которых на дух не переносил, к нему приводили коня, чтобы подковать или почистить копыта, он все равно брался за работу и делал ее на совесть.

— Мы можем собачиться сколько угодно, а животное-то при чем? — опять будто бы вел с Катуниним диалог Золотой. — Лошади — существа бессловесные. Они нашу лапотную деревню столетиями из грязи вытаскивали. Кланяться им надо, мил друг. Кла-ня-ть-ся!

В его доме все, вплоть до рамок для фотографий, было изготовлено собственноручно. Над одной рамкой горбился особенно долго, инкрустируя ее, украшая затейливыми узорами. Поместил в нее большой портрет средних лет мужчины в галстук, фуражке, с усиками мушкой и прилаживал на стену рядом с иконами.

Катунин удивился:

— Почему портрет отца в святом углу? Он же не святой. Тебя бросил...

— Для меня батя святее святых, мил друг, — зло зыркнул на Катунина наивной детской синева глазами. — Еще посмотрим, что из тебя, племянничек, получится. Святой или грешный... Жизнь из святых быстро делает грешных. Не успеешь оглянуться, а уже сатана с хвостом.

Странная особенность была в его характере. В одних случаях — железная твердость. В других — детская податливость. Со временем эта податливость проявлялась все больше и больше и связана была с его мастеровитостью. Многочисленные клиенты, за исключением колхозных заказчиков, старались отблагодарить Золотого не только рублем, но и вездесущим магарычом. Постепенно его верной и единственной подружкой становилась рюмка. Сначала выпивал для аппетита, потом — с устатку, а потом — каждый день по поводу и без повода. Иногда всплывала перед Катуниним такая картина. Сидят в мастерской. Наслаждаются тонким ароматом свежей янтарной стружки. Заходит женщина, вдова, одна поднимающая троих детей.

— Золотой на месте?

— А где ж мне быть? Что пришла?

— Надо бы мне ведро литров на десять изладить. Ты как?

— Материал принесла?

— Нету жести. На тебя надежда, куманек. Больше надеяться не на кого.

— Золотой, сделай. Золотой, найди из чего сделать, — для порядка бормотал дядя. — Ладно. Готова рассчитаться?

— А как же? — женщина достала носовой платочек с завернутыми в него рублями. — Сколько?

— Нисколько. Потом отдашь, когда сделаю. Я про другой расчет говорю.

— А-а-а, я и забыла. Вот тебе другой расчет, куманек, — женщина подала бутылку самогона, закупоренную кукурузной кочерыжкой.

— С этого и надо начинать, — наставлял Золотов. — А то деньги сует... Что я тебе, барыга? Положи вон туда, на опилки. Пригодится. Скоро гости нагрянут.

Тут Золотой являю фантазировал. Гости у него бывали. Но застольем их никогда не встречал.

Часа через два от бутылки самогона не осталось и капли. Мастер спал, обняв стожок стружек и сладко похрапывая. Было у него, пьяного, одно достоинство: сколько бы ни выпил (хоть стопку, хоть пол-литра) — тут же засыпал, правда, что-то бормоча во сне.

Тетя Вера старалась отбирать дары клиентов, он начал эти дары прятать то за стреху, то в кучу опилок, то еще куда-нибудь. Вставая рано утром, она пыталась обнаружить потайные места и прибегала к самосуду, тут же разбивая бутылки. Этот самосуд привел только к тому, что раньше он называл супругу женошкой, Верушкой. Теперь у нее было одно грубоватое имя — Верка: «Верка, возьми», «Верка, принеси», «Верка, купи» — не иначе.

В остальном самосуд ничего не давал. И заказчиков было много, и дядя на похоронки был изобретателен. Сделал скворечник. Висит себе и висит на фронтоне мастерской аккуратный птичий домик, скворцов поджидает. Птицы несколько раз прилетали, но что-то им не поглянулось, и на квартиру не стали. У скворечника оказался секрет: боковая стенка покоилась на скрытых петлях и открывалась вроде дверцы письменного стола. Туда, поднявшись на стремянке, Золотой прятал свое самогонное богатство. Однажды, видимо, нетрезвый, забыл закрыть похоронку, и тетя ее распотрошила. Дядя в очередной раз стал героем хуторских прибауток.

— Золотой, а Золотой, ты у нас птицевод. Вон каких скворцов вывел. Горластые, с зеленым отливом, — ехидничали.

— Выведешь тут с вами. Сами бутылки суете, а потом издеваетесь, — обижался мастер.

Тетя Вера ополчилась на заказчиков и в буквальном смысле гнала их со двора. Тоже не помогало. Золотой вычислял потенциальных клиентов и авансом выпивал магарыч у них дома. Запойные дни могли сочетаться с месяцами трезвыми. И тогда цены ему не было. Но штиль да гладь (да божья благодать), видимо, скоро наскучивали, и вновь начинало штормить. К себе был снисходителен, а к таким как он — беспощаден, называя их безвольными слабаками. Рассказывал об одном бедолаге, который по своей инициативе проходил курс лечения в стационаре. Приехал домой обнадеженный. Человека будто подменили.

— Представляешь, племянник, на выпускном всех их, алкашей чертовых, построили в две шеренги. Велели выйти из строя нашему земляку. Поднесли полстакана водки. Тот выпил — и в обморок. Хорошо хоть рядом врач был, откачал...

Вернулся героем. Живет месяц, другой, третий. Мужики отмечают праздники, выходные, собравшись у магазина, пьют за компанию. В их обществе он чувствовал себя человеком второго сорта. И не выдержал. Купив бутылку водки, поехал в город, сел на пороге больницы. Выпил стакан, другой. Больничная помощь не потребовалась. Нерушимая дружба с рюмкой была восстановлена, а историю эту долго муссировало местное общество как образец изобретательности и твердости духа мужика. Сельчанин ходил в героях, не подозревая, что над ним подтрунивают. Дядя его осуждал. Сам утренние обходы клиентов не прекращал, собирая самогонный оброк без стеснения, и к алкашам себя не относил.

В этой войне Катунин был на стороне тети Веры. Супруги Золотые — одногодки. Оба прошли жесточайшую школу жизни. Может быть, в молодости их взгляды на все, что окружает, и совпадали, но к старости они разошлись так, что совместная жизнь вызывала удивление, потому что была сродни существованию в одной клетке кота и канарейки. Дядя хорошо освоил роль кота-разбойника. К гостям относился с явной неблагосклонностью, считая, что они сужают его жизненное пространство, урезают свободу, вносят дискомфорт в давно сложившийся уклад. Прежде всего, уменьшают возможность приложиться к рюмке, хотя при случае он посылал по дальнему маршруту всех гостей и отмечал любой день недели как престольный праздник.

По этой же причине тетя Вера гостей привечала. Они увеличивали не очень многочисленную армию сторонников, мобилизовали ее решительность и совместными усилиями, как ей казалось, окорачивали порочные страсти супруга. И был в этом не только некий нравственный, но и сугубо бытовой резон. Тетя Вера ходила с трудом, а у Золотого, хоть и в чем душа, средства передвижения были в полном порядке. Он ходил так, будто вот-вот сорвется на бег, и даже ездил на велосипеде. Без него ни воды принести, ни в магазин сходить, ни выполнить другую обыденную домашнюю работу.

А еще гости скрашивали ее быт. Золотой, если не пьян, работал в мастерской или налаживал отношения с заказчиками в селе. Дни проходили в одиночестве. А тут готовая слушать любые деревенские истории аудитория! Тетя Вера, по обыкновению, что-нибудь делала: резала на тонкие дольки-лепестки яблоки и груши, чтобы высушить на зиму под солнцем, лепила вареники с картошкой или творогом, закрывала банки помидоров с огурцами, вязала пучки чеснока, чтобы повесить их на чердаке. За этими занятиями и сыпались как из рога изобилия истории — одна печальнее другой.

То вспомнит, как жилось ей, 16-летней девчонке, оставшейся сиротой с двумя братьями намного младше ее, в голодный 1946 год. Однажды соседи, у которых была корова, принесли два кувшина молока. Тетя Вера протомила его, поставила глиняные кувшины драгоценней древних греческих амфор в сундук, который закрыла на амбарный замок. Подумала: как хорошо, делает из молока ряженку, на неделю хватит. Приходит домой с работы — сундук на месте, замок на месте, кувшины на месте, на самом горлышке, вверху, подрумяненная молочная пенка красуется. Только в кувшинах молока — ни капли. Оказывается, голодная гвардия с помощью соломинок, пропущенных между досок сундука, выцедила все до грамма.

— Вот какие были пострелы, — шептала она, плача и чему-то улыбаясь.

Но чаще всего разговоры роем вились вокруг персоны дяди, и улыбка сходила с ее лица. Она причитала:

— Всю жизнь на него положила, а он каженьй божий день в душу плюет. Господи, прости меня, господи. Такой человек скаженьй.

В тети Верином лексиконе слово «каженьй» означало «каждый», а «скаженьй» — «непорядочный», «искаженьй», из свиты самого сатаны.

— Приходит соседка. Говорит: Верка, заведи своего Ваньку-встаньку. Где забрать, как забрать, я же обездвижимая? «У нас дома на диване лежит, — отвечает. — Пошла в огород за луком, двери на щеколду — и

все. Возвращаюсь — хата нараспашку. Я в ступор. Неужто цыгане похозяничали? Больше, слава Богу, у нас некому. Захожу, а твой красавец свернулся калачиком и дрыхнет. Двор, видать, перепутал по пьяни». Вот скаженный так скаженный. Полдня домой тянули. Господи, да за что ты меня наказал, за что?

Пошамкав беззубым ртом, продолжала:

— Погнал коров деревенских пасти. Вечер в окна заглядывает, стадо по домам разошлось, а пастуха нету. Сижу у калитки на лавочке, жду. Часа через два является. Еле на ногах держится, но с букетом ромашек. Где, говорю, был? А он: цветы тебе собирал, больно красивые ромашки попались. Тьфу! Иногда соседи говорят:

— Вер, сегодня «Любовь и голуби» опять показывать по телику будут. Посмотри.

А зачем мне смотреть? У меня тут своя любовь и свой голубь. Сел на лавочку рядом и задремал. Ромашки ноги нюхают. Я его домой тяну, а он улыбается, улыбается... Скаженный!

Не успевала аудитория переварить одну историю, а она уже начинала другую:

— Привезли в магазин водку. «Пойльская» именуется. Да что это я? Какая там «Пойльская»? Нет, не «Пойльская»... Бутылка благородная такая, как ваза, хоть на выставку.

— Может, «Посольская»? — робко предполагал кто-нибудь из слушателей.

— Ну да, ну да, «Посольская». Во память стала, что решето: сколько ни наливай, все равно пусто будет. И голова — пустая-пустая...

В доказательство тетя Вера стучала по лбу морщинистыми пальцами, вздохнув, перекрещивалась и продолжала:

— Ведь я, тетерка, водку дома не держу. У него нюх, как у кота на колбасу. А тут купить решилась. Братец меньшей, Цыганом из-за черных курчавых волос дразнили, обещался в отпуск заглянуть. Лет пятнадцать не виделись. Как по-человечески не встретить? Купила. Сховала в старый валенок — да на печь вместе с другими валенками отправила. Время от времени заглядываю — лежит-полеживает бутылочка невредехонька. Ну, думаю, хоть раз провела.

Приехал брат. Накрыла стол. Чокнулись. Хотела и я согрешить ради встречи, рюмку приглотить. Да голубить оказалось нечего. В рюмке вода гольная из колодца. Ума не приложу, как подменил: все запоры на месте, а невесты нет. Ищи ветра в поле. Хорошо, опять соседи выручили, не подвели.

Если тетя Вера начинала обличительные речи, а Золотой был дома, он бросал по обыкновению:

— Ну, запела, запела... Ты бы рассказала лучше, как дом доской паркетной обил снаружи. Каждую дощечку собственными рукам ощущал, обнюхал, выстругал, каждую дощечку подогнал да покрасил масляной краской. Крышу железом перекрыл, водостоки сделал. Ты хоть пальцем пошевелила? Только подгоняла. У одних хаты рубероидом обиты, у других — крашеным шифером или железом крыты. Стоят что сараи. А у нас — терем! Ты бы рассказала, как колодец прямо во дворе справил. Какой погреб кирпичный выложил. Как весь двор вымостил. А ты слова доброго не сказала. Как испорченная пластинка, все об одном и том же — какой у тебя муж дурак. Я дурак, а ты хорошая-расхорошая... Цаца нашла!

После каждого такого «монолог Чацкого» дядя почти выбегал из дома, матерясь и зло хлопая дверью. Все участники шоу чувствовали себя неловко, не знали, что делать. Но через день-другой обличительные монологи продолжались.

Тетя Вера была щедра к своим слушателям — участникам шоу. Если картошку жарит, то так, чтобы плавала в масле, как рыба в воде. Если пирожки печет, то такие, что одним можно взвод выходящих из окружения солдат накормить. Бывало, провозжая Катунина домой, совала ему в руку несколько мягких сотенки.

— Что суешь, что суешь? — возмущался дядя, никогда не отличавшийся щедростью. — Да у него этих денег куры не клюют, прятать некуда. Чай, в столице живет, вон где работает! А ты ему рваные сотенные.

— Боишься, тебе на бутылку не достанется? Я чужие деньги не считаю. Все, что есть, — его. А это внучке передаю. Пусть мороженым лишний раз побалуется.

Лишь одно хотя бы на время смогло примирить враждующие стороны — бразильское теледиво «Рабыня Изаура». Сериал транслировали еще в советские времена дважды в день — утром и вечером. Чем бы родственники ни занимались, они откладывали все дела в сторону и мостились у телевизора. Тетя Вера возлежала на диване, на боку, положив ноги на стул, дядя — прямо на полу, упершись локтями в подушку.

— Ишь ты, тетеря, гляди-ка, прямо пава, вот тебе и рабыня, так тебе надо, черт рогатый, — сопровождали они действие короткими фразами. Иногда дядя не умел соединить логику нескольких сцен и спрашивал у тети Веры:

— Верк, а Верк, чего это она?

Тетя Вера покровительственным тоном разъясняла, не забывая уколоть: «Пить меньше надо!»

— Да ты хоть бы в святой день помолчала! — не выдерживал дядя. — Хоть бы в святой день...

Катунин долго удивлялся тому, что Золотой называл святыми днями обыкновенные дни недели, когда показывали мыльную оперу. А потом понял — почему. Жизнь Изауры напоминала их собственную жизнь, до самого верху наполненную отчаянной борьбой за выживание, за кусок хлеба, просто за добрый взгляд. Но эта быденная жизнь не предполагала счастливого конца, он не то чтобы не угадывался в туманной дали, его — такова планида — просто не могло быть. Не могло — и все! А тут самый настоящий «хеппи энд», который размягчал, распрямлял душу, вселял минутную иллюзорную надежду на то, что счастье придет и за ними, как пришло за Изаурой. Придет и скажет: «Господи, как вы далеко живете. Еле добралось».

Но счастье не приходило. Поэтому, наверное, оказался мало востребованным подарок Катунина — видеоманитофон и кассеты с записями этой и других модных тогда мыльных опер, сделанных много-много позже. Видак поставили на полку под телевизором, накрыли темно-вишневого цвета накидкой. Тетя иногда смахивала фланелевой тряпочкой пыль с «видеоцентра», завершая процедуру одними и теми же словами: «Вот и побывала в гостях у сказки...»

Вспоминая все это, Катунин поднялся и, еще не зная, что делать, начал приседать, вытягивая руки ладонями вниз. Очередной раз приседая, заметил под диваном свернутые в трубочку листы бумаги в клеточку, которые, видимо, обронила тетя Вера.

Какая-то неведомая сила, которую трудно назвать даже любопытством, заставила его опуститься на колени и, припадая на локти, достать находку.

Примостившись на краешке стула, он опасливо и брезгливо снял с нее пыльную паутину и стал читать, с трудом разбирая каракули. Золотой спал, время от времени произнося одну и ту же фразу:

— Вчера это... завтра. Завтра... это вчера.

«Еще один Черномырдин-златоуст нашелся», — зло подумал Катунин, опасаясь, как бы за чтением чужого письма его не застала тетя, и презирая себя за это. Послание было коротким, с соблюдением стиля мещанской среды столетней давности. Писали его спешно химическим карандашом то ли на колене, то ли еще на какой-то неровной, зыбкой поверхности.

В правом углу размашисто вроде эпитафии выведено: «Лети с приветом, вернись с ответом!!!!» Ниже шел текст. Каждое предложение завершало точка. Но новое шло почему-то со строчной буквы.

«Здравствуй душа моя Верочка. с северным приветом к тебе и самыми што ни есть наилучшими пожеланиями Александр. Верочка во первых строках небольшого письмаца спешу сообщить што жив и здоров чего и тебе желаю на всю твою долгую жизнь. помилуй меня за молчание. ты только никого не слушай никому не верь. я не забыл тебя. ай я дома, ай я на воле?»

душа моя Верочка. ты знаешь как я попал сюда. следовательно языком чесал возьмешь все на себя будешь сидеть немного а как не возьмешь, то отправит всех туда куда Макар телят не гонял. и будете вы там пастись до седых волос. и сказал што и ты вместе со всеми будешь нагуливать жирок на вольных тюремных хлебах.

душа моя Верочка. рази я мог допустить штобы твои кровиночки-братья остались без пригляда? штобы ты проводила цветущее свое молодое время на нарах? выбора у меня не было. И я пошел по этапу. будь покойна и уверена во мне. тебя я никогда не забуду и не разлюблю.

душа моя Верочка. не писал я тебе по причине што довели меня. Определили подшивать валенки тем кого гонят по этапу. У нас такая норма што справиться с нею невозможно и за сутки а не то что за 12 часов. И придумали тут выход. прихватывают к подошве валенка местах в трех четырех дратвой другую подошву што для ремонта. Погружают валенки в таз с водой и выбрасывают на улицу где мороз под 50. здесь не только мокрые подошвы смерзаются, здесь кпяток налету в душу дьявола превращается. а пойдут по этапу ноги валенки согреют и подошвы отвлаются.

Верочка. с волками жить да по-овечьи блеять не получится. а я не стал подвывать. не стал план с помощью мороза выполнять. ай я не человек. Ай христианского у меня духу нетути? ну и приперла к стене стая так, что наглотался я негашеной извести. ради Христа прошу тебя ты не беспокойся лежу в тепле в лазерете. Глотка и пищевод еще побаливают. Но это терпимо. Осталось полтора годка до нашей встречи. до моей свободы. душа моя Веро...»

На этом письмо обрывалось. Оно не могло быть отправлено по почте, да и, судя по потертостям, так и не было отправлено никуда вообще. Где хранилось, как оказался в лагере запрещенный там химический карандаш, почему тетя Вера время от времени, когда Золотой в очередной раз отключался от мира сего, доставала сверток и по слогам, плача, читала пожелтевшие страницы, стараясь, чтобы никто не застал, Катунин не знал и знать не мог. Может быть, неровные, корявые строки письма и оставались той молитвой, той тоненькой ниточкой, почти пунктиром, которая не позволяла давней жертвенной любви перерасти в зудящую ненависть?

Он свернул находку в трубочку, бросил под диван и, ошарашенно взглянув на постанывающего во сне Золотого, выбежал на улицу под резвый холодный дождь. Катунин чувствовал, что открыл в чете Золотых что-то новое, даже не подозреваемое. Он силился и еще не мог понять сути этого открытия.

А дождь шел и шел не переставая. Жизнь продолжалась, но какая-то иная жизнь, на которой смутно настаивала душа.

